

## КНЯЗЬ-РАБ

Роман

— Ночуй, — махнул рукой приветливо хозяин кочевки.

Ночевали, хоть и не без некоей тревоги, но покойно в свежем шалаше недалеко от калмыцкого. Утром хозяин позвал их, держа в руке кожаное ведро с молоком. Подзывая гостей, он окунул пальцы в молоко и побрызгал им на четыре стороны.

— Эт он че колдует? — спросил Комарок.

— Чтoб мы у его семьи молоко не сглазили, — ответил Волков.

— Да я не глазливый, ты не бойсь, — бормотнул уже в устье ведра Комарок, припадая ртом к теплому молоку.

Попили все свеженького, а калмык глядел-глядел на них и расхохотался. При этом он тыкал пальцем в каждого из трех, а потом показывал на южные гребешки белых гольцов.

— Чево он? — не понял Комарок веселья калмыка.

Волков поговорил с хозяином и тоже разулыбался, вытирая усы:

— Он говорит — у нас усы, как горы, белые стали...

Калмык перестал улыбаться и спросил Волкова о чем-то. Тот, не растолковывая спутникам вопроса, ответил, а потом к своим обернулся:

— Вот еще эту горку посмотрим, да и домой направимся. Уйдем. Он советует так.

Калмык затараторил что-то, жестом показывая — «на эту гору не ходи!». Зрочки его при этом бешенно заколесли по белкам глаз.

— Че он стращает?

— Змеи там. Змей, говорит, много. Туда — хода нету. Свадьба сейчас там змеиная! — перевел Волков восклицания калмыка.

Но рудоискатели все же не послушались калмыка, а покарабкались к вершине горы, мало чем отличной от окружающих. И прав оказался калмык. Федя Комарок замер, как вкопанный, почти у вершины:

— Братцы! И впрямь свадьба! Отродясь столько не видывал...

— Какая еще свадьба? — буркнул Волков, разглядывая сизо-каменную осыпь.

— Да — свадьба! — повторил эхом Костылев, подойдя к Федору. — Ты поглянь, Михайла.

И Волков поднялся к ним, шурша осыпью щебенистой.

В корневище сухой старой сосны, будто соперничая с извилами ее корней, шевелился, струясь чешуйчато, змеиный клубок. Живое многохвостое, многоголовое существо будто искало и не могло найти выход бессловесной, беззвучной страсти своей.

Михайла даже присвистнул, увидев живой клубок.

— Не свисти! — тихо шикнул на него Комарок. — Главного змея подымешь. Выползет главный змей — горный дух и вся руда кругом пропадет.

Волков при этих словах будто глаза разул: клубок змеиный шевелился под корнями на краю оплывшей ямины и в стенках ее виднелись камни такие же лазурно-зеленые и манящие, как под Синей горой.

— И откуда ты, Федя, про горного духа знаешь? — усмехнулся Костылев, выворачивая с корневищем чашлюю сухостоину.

— А ты попей с-мое да поблядуй с-братово, — ответил Комарок.

Разбираться: при чем здесь первое и второе — не пришлось. Костылев сухостоиной разворошил, разметал клубок змеиный и гады с шипеньем расползлись прочь.

Сидорки заплечные у рудоприщиков в тот день крепко потяжелели — жаль было оставлять такую находку, хоть и не было на той горе камней, похожих на немецкие, какими тыкал в нос Козлову брезгливогубый комендант Козлов.

К вечеру они спустились к стойбищу калмыка, без всякой опаски просидели у костра долго полночь, каждый повинувшись завораживающей пляске огня, когда сушняк, отпылав, становится похож на крупночешуйчатое изогнутое драконье тело, исходящее остатним незлым жаром. Комарок постругивал после ужина таловый прутик, чиркая плоско повернутым ножом время от времени по шероховатому камешку — доводил жало лезвия до бритвенной остроты. Калмык поглядывал на его нож и не скрывал своего любопытства.

— Че смотришь? Нож приглянулся? — спросил его лениво Комарок. — Я у ты видел твой — мне он тоже нравится. Давай махнем?

Волков перевел калмыку предложение на обмен.

Калмык достал свой короткий нож из засаленных берестяных ножен. Поцокал языком — из чего все поняли — его нож лучше.

— Да ну! — воскликнул Федя Комарок и показал — какую тонкую стружку снимает его лезвие.

Калмык оттянул от редкой бороденки своей волосину и махнул стальным коротышем, показал Комару отсеченный волосок и кинул его в костер.

— Че он своим кургузым машет? Нашел — чем похвалиться. Давай — нож на нож — спробуем. Увидим — чей крепче.

Волков показал калмыку — что предлагает Комарок и хозяин стоянки протянул Михайле свой нож, усмехаясь.

— Бей лезвие на лезвие. Крест накрест! Увидим — чей лучше! — подзадорился Комарок.

И Михайла секанул нож об нож. Лезвие калмыцкого осталось чистым. Зато на острие фединоного появилась узкая — с травинку, просечка.

Калмык так же с усмешкой, молча заткнул свой нож в берестяной чехол, а Федя сокрушенно разглядывал свою неудачу и все еще не верил, что томские кузнецы куют железо хуже белых калмыков.

Спутники Федины беззлобно посмеялись над ним, но их беспечное состояние и разморенность у огня после карабканья по закустаренной горе, развеял калмык. Он долго что-то говорил Волкову и тот посерьезнел, слушая кочевника.

В конце их разговора нахмурился Михайла.

Костылев повременил чуток и спросил:

— Худое что сказал?

— Есть и худое, да неясное какое-то. Говорит — у них там, в горах, большая война идет. Скоро сюда придут люди зюнгорского контайши. А они урусов не любят. Уходить нам опять советует.

— Мы и не собирались тут в его молоке кажин день усы полоскать. Нам и без его советов уходить пора.

— Калмык про степь говорит. Туда его рода люди выходят из гор. Их силой люди контайши на войну сгоняли.

— Значит, нас они не тронут. Мы им — какая сила?

— Дурень ты, Комарок. Не о силе речь, — раздумчиво ответил Волков, почему-то вспомнив засечку на лезвии Фединоного ножа.

...Тогда, распрощавшись на следующее утро с хозяином кочевки, двинулись рудоискатели в северную сторону и, выходя из разлогих долин, сами становились как будто выше и шире в плечах — на степи всяк человек в свой рост приметен.

Волков ни с того ни с сего спросил Комара:

— Ты растолкуй, гуляка, мне присловье свое. А?

— Какое? — не ожидая подвоха, обернулся Комар. — Ты меня все одного вдосталь донимаешь. Опять я тебе когда-то задолжал.

— Нет, не задолжал. Помнишь — ты сказал: попей с-мое да поблядуй с-братово. Это как же одно с другим раздельно быть может?

— А-а-а, — протянул Комарок. — Вы ж прежде того спросили меня — откуда я про змея, клад стерегущего, знаю. Ну, про горного духа. Дак вот. Кабы я не пил, а блядовал, то и не услышал бы в томском кабаке — какие там байки люди с Ирбиту рассказывают. В кабаке томском про горного духа змеиноного и слышал. А в блядованье ударяться — я ни-ни! То дело — другому любезней, брату моему, к примеру.

— Видел я твое «ни-ни», — подначил Волков Федю. — Ты своими лупошарыми всю станину калмыцкой женки пробуравил, как она к костру склонялась.

— Брешешь ты, Михайла. Это мой брат такой, а я — не. Я свою бабенку блюду и себя с ней. Она у меня худобышка. Ну, прям, не баба, а стебулек. Упадет в постелю — и потерялась. Я иной раз ее на полатах ищущу-ищущу — ну хоть граблями выгребай, пока найдешь. Зато душа у ей — цветенье купальское!

Так и двигались они к дому, то умолкая надолго, то болтая о всячине.

И слово незлое их путь коротало.

Все картинки минувшего лета, будто виденье быстрое, промелькнули перед Степаном, когда он нарезал хлеб к ужину Фединым ножом и увидел памятную шербинку на лезвии.

— Так выходит зазря мы два лета сапоги по косогорам били? А, Михайла? Кому свой прииск предъявим, коли Козлову он не по ноздре?

— Ты как растолковал себе ту привилегию, что на досках публичных прибита?

— Как ее толковать? Там ясно писано: искать, копать и плавить...

— Во! Копать и плавить! Вот и пойдем туда — копать и плавить.

— Да ты хоть видел — как ее, руду, плавить?

— Видел мальцом. Грек при мне печи на Каштаке ставил.

Степан погонял по миске похлебку и отложил ложку в сторону.

— Смешно рассуждаешь. Вас — томских, сколь миру на Каштак ходило?

— Ну, поболее сотни.  
 — Ага. Поболее сотни. А ты хошь чтоб мы: ты да я, да Комарок такое дело свернули?  
 — Не такое, а поменьше. Печь поменьше сложить. Дров там на уголь — огребись, сам видел.  
 — Вы, мужики, заговорились вовсе, — встрел Федя. — Уж и готовы золото телегами возить от Синеи горы. А про клин в дыре под горой забыли? Кто вам обережку там даст?  
 — От кого обережку? — Волков глянул на Комара снисходительно.  
 — От того, кто клин в рудную стенку вбил. То ж не просто клин, а знак всем. Кто-то вбил его и сказал — мое!  
 — Да ничье оно, — отмахнулся Волков. — Того, кто вбил, кости уж тридцать раз истлели.  
 — Истлели! Да. Но кто-то ж пришел место попроведать. Индо подтвердил — это самое «мое». Нет, братцы. Без обережи воинской нам туды хода нету, — и Федя погладил лезвие своего ножа, разглядывая на нем калмыцкую зарубку.  
 — Чево-то вы, ребятки, заболтались у меня, — подала голос от судней лавки Марья. — Мне вам ужин снова, че ли, греть? Остыло все — говорливые.

\* \* \*

Степан долго не мог заснуть, ворочался, вздыхал глубоко.  
 Наконец Комарок не выдержал и подал голос шепотом:  
 — Ты, Степка, перестань голову ломать. Мы все одно Михайлу уторкаем — пойдет он с нами к коменданту руду объявлять.  
 — Да я не про то, чтоб объявить. Это нехитро. А вот как объявить, чтоб привилегия нам хвост не показала?  
 Марья тоже не спала. Она думала о том, как повернется жизнь ее и Михайлы, коли отнесут мужики свои цветные камения в избу воеводскую. Даже деньгу им могут отвалить сказочную... Но вот о чем там шепчутся двое ее постояльцев — она расслышала плохо и, досадуя, одернула их:  
 — Эй! Шепотники. Вы долго будете там шипеть промеж себя. Скоро петух первую песню сыграет. — Мужики притихли, но потому лишь, что договорились — днями ближними надо пойти в город, потолкаться на миру, авось, кого расспросят — как получить ту манящую награду за свою находку. В конце концов есть же еще площадной подьячий. К нему все идут с расспросами или бумагу какую составить.

Сходили рудоприщики к подьячему площадному — показали знатоки им такую дверь. Тот выслушал Костылева и насчет «Привилегии горной» только горестно головой покивал:  
 — Да, вывесили такую. Но и толку-то? Никто ни сном, ни духом не ведает: куда далее людям стучаться. Ох, жалею я, ребятки, — не повезло вам здесь в Томском на комендантство Ивана Родионыча.  
 — Жаль почему? И кто он?  
 — Э-э, братцы мои. Качанов Иван Родионыч по руде, по приискам шибко сведом был. Он же в Нерчинском такие печи на серебряных ямах с греками ставил, что серебро в ведро живой струей потекло.  
 — Он что — помер? — спросил Костылев и перекрестился.  
 — Нет, не помер, но малодоступен ныне.  
 — Уехал куда-то?  
 — Уехал. Пострижен во старцы в Троицкий монастырь. Ныне он под именем Феодосия...  
 — Далек монастырь?  
 — Далече. На Конде-реке.  
 Рудоприщики переглянулись. Ни тот ни другой не знал — где она, эта Конда.

...Да и окажись они чудом на Конде в том Троицком монастыре, они бы не застали там старца Феодосия. Иван Родионович Качанов в это время был в допросах сибирской комиссии у Дмитриева-Мамонова и обличал в лихоимстве ближнего родственника князя Гагарина бывшего томского коменданта Траханиотова...

Еще день-другой попереминались с ноги на ногу и, почесывая затылок, Степан с Федором решили — может быть пойти с общего порога к коменданту и предъявить ему еще раз свою находку. Камни у них теперь — свежачок! Этого году взять.

Но ни через день, ни через два они никуда не пошли. В доме у Марьи случилось неожиданное — куда-то пропал Михайла.

Марья глядела на постояльцев вопросительно:  
 — Он че-нить сказал вам — как уйти?  
 — Не было никакого разговору, чтоб он куда-то налаживался. Это мы к площадному дьяку сбирались да и сходили, — ответил Комарок.

Широка Сибирь и зима ей в ту же меру дается. Есть где затеряться, есть где разминуться — не встретиться. Но есть в гибельных сибирских просторах утвержденное русским сердцем место —